

УДК 821.161.1 - 028.21 - 043.5

ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРТЕКСТА «МЕДНОГО ВСАДНИКА»

А. С. ПУШКИНА В РОМАНЕ М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

Перзеке А. Б.

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Симферополь, Россия
e-mail: perzeke@rambler.ru

В статье в свете перспективных задач изучения пушкинских традиций в творчестве М. А. Булгакова подвергается системному рассмотрению ранее не исследованный в литературоведении аспект романа «Мастер и Маргарита», связанный с развитием в нём интертекста поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник», предложены современные подходы к её интерпретации, включая изменение устоявшейся парадигмы осмысления образа «бедного Евгения». Статья подчёркивает глубокую погружённость М. А. Булгакова в философские смыслы пушкинского мифа, отразившуюся на органичном характере переключек его романа с вершинным произведением поэта, развивающее тему противостояния личности и власти, и различные уровни этого конфликта по сюжетным линиям Иешуа – Понтий Пилат; Мастер – современная власть; Мастер – Воланд. В работе отмечается автобиографизм творения Булгакова, воплощённый по пушкинскому принципу «петербургской повести» и включающий предвидение своей судьбы. Обращается внимание на природу актуальности для писателя, отразившего в «Мастере и Маргарите» своё историческое время, семантики и художественных решений поэмы А. С. Пушкина о Петре и Евгении, на вечный характер тематического круга романа, который наследовал у своего великого предшественника М. А. Булгаков, придавая ему отмечаемую в статье неповторимую авторскую интерпретацию.

Ключевые слова: власть, личность, инвариантность, безумие, вызов, автобиографизм, миф, вечные темы.

Широко распространена в булгаковедении и, несомненно, справедлива мысль о том, что блистательные плоды таланта одного из самых значительных русских писателей XX века неотделимы от отечественной литературной традиции, постижение которой необходимо в качестве ключа ко многим явлениям булгаковского творчества. Говоря о перспективах изучения этой проблемы, И. Ф. Бэлза в своё время сформулировал их так: «Думается, что наиболее надёжной основой подлинно научных исследований о Булгакове должно быть постижение его глубоких, органических связей с русской литературой, и прежде всего с Пушкиным» [5, 242].

Узнаваемая в целом ряде булгаковских произведений на самых разных уровнях их поэтической системы неповторимо-авторская интерпретация пушкинского художественно-мировоззренческого опыта явилась для писателя одним из

универсальных способов образного воплощения выпавшей на его жизнь катастрофической эпохи с её перипетиями, яркими жизненными реалиями, драматизмом человеческих судеб, включая его собственную. К тому же Булгаков, безусловно, был одарён ясным ощущением, что на его глазах свершаются события мировой мистерии бытия в ипостаси исторической судьбы России, которую гениально осмыслил и передал Пушкин. Отсюда берёт истоки неистребимое булгаковское влечение к слову и духу его творений как верного восприемника. Их явной и скрытой печатью было отмечено то, что писал он, связывая переключкой с пушкинской картиной мира свой образ российского настоящего и провидение будущего. Конечно, в этом творческом влечении, помимо зрелых художественных ориентиров, было и не проходящее детское очарование от любимых строк и героев, и продолжающее длиться воздействие обаяния самой личности поэта, и неизгладимое потрясение его насильственной гибелью.

Удивительным, если не сказать мистическим образом сложилось так, что путь Пушкина до самого финала стал для самого Булгакова волей высших обстоятельств и сил повторяющимся во многих чертах руслом, по которому ему суждено было идти в напряжённом духовном поиске и вдохновенных трудах до такого же неизбежного и горького ухода из жизни от рокового смертельного недуга, вобравшего в себя ситуацию неприятия земной властью со псарями его творческого существования. Писатель жил с Пушкиным в душе, поклонялся ему, постоянно изучал его и повторял извивы его судьбы вплоть до самого последнего, смертного узора. Булгаковское творчество, феноменально синтезируя в себе зарубежные и отечественные истоки, глубоко русское и пушкиноцентричное.

Доскональное изучение наследия Булгакова на протяжении последних десятилетий заметно выступает одной из перманентных задач современного литературоведческого процесса. Продвинуться в постижении поэтической тайны булгаковского творчества во многом означает осмыслить в нём присутствие Пушкина, характер широкой, органичной опоры писателя на пушкинские художественно-мировоззренческие принципы и тип творческого поведения,

определившие открытость большого количества булгаковских текстов для включения в себя масштабного пушкинского интертекста.

В ходе коллективных усилий булгаковедов происходит постепенное накопление представлений об этом явлении, вместе с тем, ещё достаточно далёких от системной полноты и развёрнутой конкретики, и вырисовывается постоянно пополняемая группа творений великого поэта, инвариантное влияние которых так или иначе ощутимо в произведениях Булгакова. В их числе «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Борис Годунов», стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Бесы», «Послание Дельвигу» и целый ряд других. В то же время в стороне от этого процесса пока ещё остаётся поэма «Медный всадник», чьё реальное воздействие на Булгакова явилось поистине огромным и предстаёт значительным сегментом в общем контексте воспринятой им пушкинской традиции.

«Петербургская повесть» занимает совершенно особое место в творчестве Пушкина. В этой поэме «воды и камня» создаётся контрапункт из ведущих тем всего его творчества: дела Петра и его города, судьбы России, разгула бунта стихии, вторжения в жизнь героя надчеловеческих сил. Стихия, статуя, человек – так обозначил Ю. М. Лотман три базовых образа-модели, составляющих смысловое ядро поэмы и заключающих в себе универсальное культурно-историческое уравнение [10, с. 127]. «Поэма о доме» [9] – другое сложившееся в науке обозначение «Медного всадника» – тематически принадлежит так называемому «петровскому» контексту Пушкина, который состоит из ряда произведений, где присутствует образ Петра, и знаменует последний этап напрасных попыток поэта вступить в диалог с властью, которые он в последней поэме завершил метафоричным, грозным и провидческим изображением национальной катастрофы [13].

Это во многих отношениях одно из вершинных творений пушкинского гения, находящееся в глубоком резонансе с алгоритмами российской исторической реальности, по имеющимся свидетельствам властно влекло Булгакова своей тайной [5, с. 231] и неслучайно стало для него важнейшим поэтическим инвариантом, ощутимо отозвавшимся своими смыслами в его произведениях.

В «Мастере и Маргарите» сложились своеобразные пути «окликания» Булгаковым пушкинского наследия в ходе реализации им своего сложнейшего замысла, которые исследователи не спешат рассмотреть под углом влияния «петербургской повести». Между тем в уникальном «романе-миннипее» XX века оказались использованы важные пушкинские принципы и мотивы, характерные для «Медного всадника» и наследованные писателем-преемником с присущим ему блеском мастерства.

Попутно отметим, что Булгаков никогда и ни в чём не был подражателем, всегда имея индивидуальное художественное мироощущение, яркий авторский стиль, и шёл своим неповторимым и тернистым творческим путём. Всем своим великим литературным предшественникам, включая сокровенного Пушкина, он творчески наследовал лишь в той мере, в какой это соотносилось с его собственными концептуальными замыслами, глубоко трансформируя при этом инварианты и никогда не облегчая себе работу ремейком. Этот же яркий булгаковский «почерк» проявился в «Мастере и Маргарите» применимо к инвариантным смыслам «Медного всадника».

Пушкинская поэма со зловещим всадником, имеющим мистическую ипостась и горделиво возвышающимся в «крошечной мгле» над сотворённым его «волей роковой» обречённым на бедствия градом, и образом несчастного, обездоленного им человека, явилась итогом размышлений великого художника-мыслителя и историка над личностью Петра и феноменом властной силы, которая стремилась определять ход событий, распоряжаться судьбами людей, подчиняя их своим замыслам. Последствия властных деяний поэт повсеместно наблюдал в различных проявлениях своей эпохи, находился в сфере прямого контакта с властью, всю жизнь чувствовал простёртую над собой властную руку и стремился сохранить от неё свою «внутреннюю свободу». О власти он писал в «Стансах», «Арапе Петра Великого», «Полтаве», «Моей родословной», «Капитанской дочке», «Борисе Годунове», «Исторических заметках», «Истории Петра», «Пире Петра Великого». «Петербургская повесть» выделяется из этого контекста своей всеобъемлющей концепцией деспотической власти, в которой, по точному определению

С. Г. Бочарова, «петербургское и человеческое... несоизмеримые величины» [2, с. 138].

Таким образом, пристальное обращение к проблемам власти в России и выход в своей последней поэме на историософский уровень их осмысления, определивший ранее неизвестный русской словесности масштаб обобщений и характер образности, были для Пушкина с его особым даром поэтической всеохватности неизбежным творческим действием, отвечающим насущным художественным запросам времени, которые он всегда прозорливо понимал. Поэтому «Медный всадник» стал важнейшей составляющей центрального текста русской литературы, у истоков которого стоял великий поэт и которому был тесно причастен Булгаков.

На глазах автора «Мастера и Маргариты» произошла смена исторических эпох, победившая власть пришла в облике новых персоналий, формируя свой мир, насаждая свои ценности, по их сути и образу правления оказавшись деспотической. В советском обществе проявилась целая система определяемых ей отношений, представ в своей хорошо узнаваемой русскому культурному сознанию антиномичности: *власть и народ, власть и личность с вариациями власть и художник, власть и несовершенная реальность, подлежащая преобразению*. При этом в каждом подобном сегменте неизменно отзывались бинарные оппозиции *жестокость / милосердие; добро / зло*. Вполне естественно, что тема власти, борьбой за которую была отмечена динамика эпохи, во многом определяя вектор общей направленности советской литературы 20-х – 30-х гг. XX века, явилась в прозе Булгакова центральной и сквозной, вбирая в себя в том числе и сатирическое «Собачье сердце».

Универсальные смыслы «Медного всадника», придающие ему свойство национального мифа, как ни одно другое создание Пушкина оказывались созвучны революционному и постреволюционному времени, попав по этой причине в поле зрения и творческого притяжения писателя. Перипетии России в XX столетии: революционный бунт и государственная катастрофа, крушение старой власти, жёсткое силовое внедрение новой властью идеологии утопического проекта, её безжалостная расправа над инакомыслием, трагическая судьба каждого,

вовлечённого в исторический водоворот человека, его нравственные и физические страдания, утрата близких, дома, жизни, народные обольщение и трагедия, воля сильной деспотической личности – все эти смыслы были заключены в формах поэтики поэмы Пушкина, составляя бесценный творческий арсенал, который благодарно использовал Булгаков.

Если «Белая гвардия» повествует о крушении старого мира, вбирая в себя созвучную группу смыслов «петербургской повести», то действие «Мастера и Маргариты» происходит в уже преображённом, посткатастрофическом мире. Его центром выступает советская Москва, занимающая в романе семантическое место, аналогичное «граду Петра» пушкинской поэмы. Подобно автору строк о нём, пишущему и читающему без лампы при петербургском безлунном свете, Мастер вдохновенно творит свой роман о Понтии Пилате московскими ночами, неожиданно для себя вызывая их властный гнев на свою голову. Что касается эсхатологических смыслов поэмы, то здесь у Булгакова их «окликание» носит совсем иной характер, чем в «Белой гвардии» [8, с. 20–22].

Проявление интертекста «Медного всадника» в романе многообразно и происходит по нескольким линиям, которые составляют его идейный стержень. Прежде всего, укажем на дальнейшее развитие в интерпретации писателя противостояния личности и властной силы по линиям: Иешуа – Понтий Пилат и Мастер – безликая государственная машина, обращённая против бунтующей личности, поскольку сам факт создания произведения со смелой вариацией Евангельского сюжета предстаёт настоящим духовным бунтом против господствующей идеологии атеизма. Отношения Мастера и Воланда – ещё одно направление «властной линии» в романе, тесно связанное с двумя другими. В свою очередь, в нерасторжимом смысловом единстве с ними находится линия Мастера и Маргариты, испытывающая на архетипическом уровне определённое воздействие истории о «бедном» Евгении и его невесте, волею судьбоносных надчеловеческих сил лишённых жизни и соединившихся в смерти за пределами сюжета.

Типология Мастера и Иешуа Га-Ноцри целым рядом присущих их образам базовых черт тяготеет к пушкинскому герою «Медного всадника», в чём можно

увидеть, подобно другим аналогичным случаям булгаковского романа, намеренную установку автора. Оба они, как и Евгений, у которого умерла вся родня, несут на себе печать сиротства: Иешуа говорит, что не помнит своих родителей, Мастер, появляясь в романе, оказывается совершенно одинок и никогда не упоминает о наличии кого-либо из близких. Можно отметить и их сопоставимое бездомное состояние: Мастер вслед за Евгением, снимающим «уголок», арендует комнату в цокольном этаже, Иешуа – бродяга (так называет его прокуратор во время допроса), каким стал Евгений после потопа.

«Евгеньевский» архетип с вариациями его проявлений у каждого из героев Булгакова заключается в таких их важнейших свойствах, как неординарность личности, высокая духовность и высокий ум, благородство, исполненность любви к другим (у Мастера – к возлюбленной, как у Евгения к Параше, а у Иешуа – ко всем людям), а также влечение к внутренней свободе и истине, и верность себе в выпавших на их долю испытаниях.

Стоит заметить, что этот герой Пушкина, которого часто принято считать маленьким, жалким человеком с немудрыми мыслями о семейном доме, названном им приютом смиренным и простым (у истоков этой парадигмы стояли В. Г. Белинский, А. В. Дружинин, в XX веке её продолжили Д. С. Мережковский, В. Я. Брюсов, Г. П. Федотов, В. В. Сиповский, Д. Д. Благой, Г. А. Гуковский и др.), таковым по большей части не является. Мелкий чиновник, страдающий от безденежья, он стремится доставить себе «и независимость, и честь», готов добиваться повышения по службе упорным трудом, не используя громкое в прошлом имя предков, которое носит, а потому «дичится знатных». В критической ситуации катастрофы Евгений проявляет самоотверженность и мужество, а также глубокий ум, задаваясь в разгар потопа экзистенциальным вопросом о сущности жизни: сон ли пустой она, насмешка ли неба над землёй, и пронизательно постигая зловещую сущность «грозного властелина судьбы».

Безумие, овладевшее Евгением, делает его бедным изгоем, одновременно налагая особую печать избранничества и вещего знания истины о «строителе чудотворном». Пушкин в поэме создал образ «лишнего человека», который был

социально мал в несовершенном, бездушном мироустройстве, но оказался невероятно значителен по своему человеческому потенциалу [14], парадоксально оказавшемуся для него смертным приговором. По выражению

Ю. Н. Борева, «Евгений не попал в круг... участников пира жизни» [3, с. 227].

Пушкин, прекрасно понимая огромную роль в истории царя-реформатора, именно в «Медном всаднике» очень строг к Петру с позиций человечности, и в этом заключается его абсолютный гуманизм, который возник в семантической сфере Петербурга у самых истоков петербургского текста. В произведении выводятся два полярных героя, отвечающих, разным понятиям героического. При этом Евгений оказывается по-своему не только равновеликим Петру, но и выше царя в нравственном, гуманистическом измерении, поскольку в нём, благородном, любящем человеке с онтологическим потенциалом стремлений оказался сконцентрирован мировой смысл, который, фигурально говоря, не увидел, не понял и не сумел оценить Пётр, создавая этим почву для катастрофы. Заметим, что изначально не Евгений отверг государство, а сам со всеми своими личными достоинствами был отвержен государственной властью, влача социально жалкое существование и мечтая о «местечке».

Всем строем своего произведения с глубоко спрятанными потаёнными смыслами в виду высочайшего цензора, Пушкин выступал на стороне бедного чиновника – социальной маски, которая скрывала истинное пушкинское понимание оскорблённой человеческой личности с заложенной в ней искрой Божьей в мире петербургского бездушия, где царят «скука, холод и гранит». Поэт выражал этим негодование не только «кумиру на бронзовом коне», но в немалой мере и современной ему власти, содержащее в себе явный мотив его собственной не востребованности, поскольку был вынужден служить в малом придворном чине камер-юнкера, хотя в своё время надеялся стать верным наперником царю в серьёзных государственных делах на благо Отечества.

Понимание реального масштаба героя «петербургской повести», которому в своё время литературной критикой был вынесен строгий «приговор» («Евгений бледен как лицо, и лицо такой великой поэмы, где всё ясно, определёнno, пропитано поэзией,

доведено до крайних пределов изящества» – писал А. В. Дружинин [7, с. 76]), необходимо для успешного изучения его влияния на булгаковских персонажей из «Мастера и Маргариты», зримо находящихся в семантическом пространстве притяжения этого образа.

В образе избитого, опасавшегося смерти и принявшего её Иешуа, и во многом составляющим с ним семантическое единство образе Мастера, оказавшегося в клинике для умалишенных, Булгаков развивает осмысленную Пушкиным в образе Евгения ужасающую беззащитность человека перед деспотическим насилием, зависимость его судьбы от надчеловеческих сил, неизбежность страданий за мыслепреступление против них и обречённость на гибель в мире, лежащем во зле. При этом он успешно использует в романе пушкинский художественный принцип сопряжения «бесконечно великого и бесконечно малого, по выражению В. Я. Брюсова» [4, с. 46], достигая такой же гуманистической наполненности своей концепции. Подобно Евгению, Мастер и Иешуа как образные изводы единого героя оказываются в непосредственном, «фамильярном» контакте с соответствующими властными фигурам: Воландом и Понтием Пилатом, каждая из которых заключает в себе различную степень преемственности с Медным всадником в мире романа. Знаменательным с позиций пушкинских традиций выглядит у Булгакова то обстоятельство, что Иешуа, поднявшего в своих высказываниях религиозно-философский бунт против земной власти с её насилием над человеком, отправляет за это на смерть Всадник Золотое Копьё, выступая в момент принятия рокового решения проводником власти императора Тиберия.

Мастера и его возлюбленную забирает из мира живых Воланд, в последней сцене предстающий летящим над подвластным ему миром всадником. Он подобен своему пушкинскому инварианту, находящемуся «в необозримой вышине», который погубил невесту Евгения и его самого.

Но судьба Мастера имеет вторую составляющую, связанную с вариативным художественным ходом, в котором ощутима всё та же инвариантная семантика «Медного всадника». Написав свой роман и этим поднявшись на духовный бунт, он сталкивается не непосредственно с властной фигурой современности, которая в

творении Булгакова находится в области умолчания. Его преследуют и губят мелкие служители властной воле Ариман и Латунский (фамилия этого критика косвенно связана с медью, входящей в состав латуни), устроившие роковую для него травлю. Это проявление в формах поэтики булгаковского произведения того же знакомого пушкинского мотива преследования властью человека, выраженного в поэме пластикой «тяжело-звонкого скаканья» Медного всадника, который простирает карающую руку над виновным в бунте, бегущим Евгением.

Иешуа и Мастера в наследование пушкинскому герою посещает особая форма вещего безумия. Они, как и Евгений, полны «внутренней тревоги» и становятся изгоями в мире, в котором живут. Подобно ему, они прозорливы и потому опасные для власти безумцы, поднявшие против неё бунт. Мастер, по справедливой мысли Б. В. Соколова, ещё один «лишний человек» в литературе своего времени, «затравленный в земной жизни...» [15, с. 312], что справедливо в равной мере и по отношению к Иешуа. Этого героя безумным преступником называет Понтий Пилат и запрещает страже с ним общаться, поскольку он произносит крамольные речи, страшные для существующего порядка вещей, и, возможно, ещё потому, что бродячий философ, настойчиво исповедуя идеи изначальной доброты людей и грядущего падения земной власти, не задумывается о том, что ставит на карту свою жизнь.

В образе Мастера мотив безумия получает ход, по своему сюжетному развороту выходящий за видимые грани пушкинского инварианта, поскольку герой, подвергшийся насилию, попадает в психиатрическую больницу с явными симптомами болезни, общается с медперсоналом, тайно покидает палату и встречается с Иваном Бездомным, а в реальном времени кончает там свои дни. Однако семантика «евгеньевского» литературного типа, тем не менее, в этих формах поэтики не нарушена, поскольку Евгений после полученного потрясения из-за гибели Парашаи отстраняется от окружающих людей в своём особом состоянии. Более того, этот «безумец бедный», как называет его автор, смотрит на лик «державца полумира» и бросает ему вызов, совершая по всем царящим канонам безумный поступок. Подобным ему в своей безумной сути выглядит создание Мастером романа в тяжёлой

атмосфере 1930-х годов и стремление к его публикации, обрушившее на голову творца державный гнев.

Такая опасная для «трижды романтического Мастера» самозабвенность, характерная и для мудрого, и одновременно наивного Иешуа, обрешего себя на гибель откровенным изложением своих мыслей, тоже берёт исток в образе бедного чиновника, обратившегося к Медному всаднику со словами: «Ужо тебе!», которые воплощали духовную потребность произнесшего их героя выразить свой приговор господствующему кумиру, и в его последовавшей реакции открывали всю глубину духовного величия и одновременно незащитности Евгения.

Следует подчеркнуть, что это были всего лишь слова, но именно они привлекли к «бесконечно малой» величине, «дрожащей твари» [12, с. 143], каким по своему месту в мире казался некоторым исследователям произнесший их герой, пристальное внимание «бесконечно великой» величины Медного всадника. Ранее он показательно был «обращён к нему спиной», и только после прозвучавших слов повернул своё возгоревшееся огнём гнева лицо и оставил ради его преследования свой пьедестал.

Эта сцена явилась новаторским откровением великого поэта-мыслителя и своей символикой навсегда вошла в широкий культурный обиход. Её чеканная пластика и неисчерпаемые смыслы, вещие слова, обращённые к деспотической власти с карающей рукой, способствовали раскрытию неизбежной судьбы того, кто оказался обречён их произнести. Булгаков выразил свою глубокую причастность этому наследию масштабом и характером интертекста «Медного всадника» в романе «Мастер и Маргарита», где судьбой своих героев сказал о своей собственной судьбе подобно тому, как в поэме это сделал Пушкин.

Автобиографизм, пришедший в поэтику образа Евгения многими путями, предельно сокращал дистанцию между ним и автором. Евгений – сокровенный пушкинский образ, равного которому в этом качестве в творчестве поэта нет. Создавая «евгеньевский» тип героя, воплощая и концентрируя в нём свою философию человека и власти, великий художник наделил его рядом черт и придал ему ряд жизненных положений, соотносимых со своими. Не отходя от глубокой и точной типизации при изображении истории человека с достойным именем, чистой

душой, «мыслью семейной», ярким ощущением «самости» в бездушном городе Медного всадника и правды об этом грозном «властелине судьбы», Пушкин в то же время не по букве, но по духу спроецировал на Евгения свой жизненный путь и свои ценности. Таким образом, он оказывался участником сюжетного действия с потоком, утраченным счастьем, безумием и прозрением, бунтом и преследованием статуей, которое изобразил в «Медном всаднике», а также с финалом вытеснения сокровенного героя из жизни, который роковым образом стал провидческим и ожидал его самого. Последнее читательское впечатление от текста поэмы – тело Евгения на пороге разорённого дома как символ насильно оборванной любви и жизни. А вскоре с Пушкиным случится то, что будет описано словами: «Погиб поэт...», и он, обессиленный, трагически покинет мир в своём семейном доме...

Принцип пушкинского художественного автобиографизма в поэме был творчески воспринят Булгаковым и по-своему осуществлён в поэтике образа Мастера с таким же, как у поэта, предощущением своего ухода из жизни. После земных мытарств, достигших его по причине конфликта с властью, создатель романа об Иешуа и Понтии Пилате покидает этот мир вместе с возлюбленной, подобно Евгению, ушедшему вслед за невестой. И если Пушкин на этом завершает повествование, то Булгаков продолжает подразумеваемый, но сюжетно неразвёрнутый в поэме миф о встрече влюблённых в лучшем мире изображением посмертия Мастера, которому дарованы покой и счастье вечного пребывания рядом с Маргаритой в доме для двоих. В жестокой реальности это для них было невозможно, равно как и для пушкинского героя с его Парашей, и для самого Пушкина в его семейном доме с любимой женой в кругу детей, о которых только мечтал его в немалой степени литературный alter ego Евгений.

Булгаков с блеском использовал условность, яркую игру воображения, сюжетно трансформируя реальные события и личностные черты. Но в этих формах он не отступил от жизненной правды, нашёл вслед за пушкинским стремлением обрести инобытие в Евгении, верный способ оставить свой неповторимый образ в романе, который писал до последнего дыхания, и более того, даже взять в него с собой преобразённую в Маргариту, но не лишённую от этого узнаваемой конкретики

живых черт, свою верную подругу Елену Сергеевну. Совершенно очевидно, что, будучи зрелым и самостоятельным творцом, Булгаков шёл своим шагом по пути глубокого проникновения автора в героя, проторенном Пушкиным в «Медном всаднике», приняв его в свой авторский арсенал и творчески воплотив в художественной плоти «Мастера и Маргариты».

О новаторском продолжении пушкинского инварианта позволяет судить и мистическое смысловое измерение романа. В поэме оно подразумевается в семантике описания открывшейся Евгению на площади через год после событий тёмной надчеловеческой природы статуи царя, которая наводила ужас в окрестной мгле, а также в другой сцене, когда оживший Медный всадник, озарённый «луною бледной», преследует беглеца. Этот не фиксируемый в реальности мистический контакт героя с потусторонней силой создавал по воле автора двойственность в семантике происшедшего, которое в свете реалистического взгляда представало фантомом полубезумного от горя человека, чья смерть на пороге пустого дома не выходила за рамки естественных причин. Пушкин, таким образом, воплотил в своей сюжетной интерпретации принцип двоемирия и эффект тайны.

Булгаков, наследуя ему, даёт средствами романного жанра в линии Мастера и Маргариты развёрнутое в повествовании изображение контакта главных героев с нечистой силой, расширяя его и на целый ряд других персонажей, начиная с Берлиоза и Ивана Бездомного. В этом оказался реализован потенциал семантики Медного всадника, ужасного в «петербургской повести» для всех обитателей города, подвластного ему.

В двоемирии романного хронотопа уход Мастера из жизни имеет две параллельные сюжетные версии и окутан тайной. И если в профанном измерении в психиатрической лечебнице умирает никогда не покидавший её больной, то в несуществующем для окружающих сакральном пространстве романа героя и его Маргариту (тоже умершую в своей квартире) похищает Воланд со свитой. Так, несмотря на глубокие внешние различия в формах и подробностях сюжетной подачи этих событий Пушкиным и Булгаковым, сама структура их у писателя XX века позволяет улавливать художественный опыт и интертекст «Медного всадника».

Ещё одним подтверждением чрезвычайно тесной связи романа с поэмой служит мастерски созданный в нём образ безбожной, безблагодатной Москвы как продолжение подобных граней семантики пушкинского произведения при воплощении ненастного, холодного Петербурга, и образ народа, который так же, как и в пушкинском изображении на берегу клокочущей Невы, у Булгакова падок до развлечений, не осознаёт во время представления Воланда в «Варьете» опасности происходящего и массово терпит бедствие.

ВЫВОДЫ

Подведём некоторые итоги. Очевидно, что Булгаков был глубоко погружён в философские смыслы мифа о Медном всаднике и активно интерпретировал их, создавая свой роман о могучих властных силах и хрупкой, обречённой стать их жертвой, обаятельной в своём духовном облике человеческой личности – носителя высшей истины и трагизма, чья история, как и история пушкинского героя в «петербургской повести», выступала мерой состояния мира по шкале добра и зла, была остро современна и судьбоносна для автора. Писатель далеко отрывался от пластических форм и сюжетного рисунка инварианта, чему закономерно способствовали и другая эпоха, и особенности замысла, но в то же время ориентировался на его образы, идеи и структурно-семантические принципы. В целом в «Мастере и Маргарите» на концепцию героя и смысловое ядро философии власти приходится разный удельный вес пушкинского влияния. Булгаков всё же решал во многом иные задачи, чем его великий предтеча.

Важно отметить, что сопоставительный анализ великих произведений разных веков становится наглядной демонстрацией действия конкретных механизмов в области преемственности традиций и процессах формирования сверхтекстов русской литературы, к изучению которых обращено пристальное внимание современного литературоведения [11; 16]. В данном случае речь идёт о Пушкинском тексте. К его огромному семантическому пространству в XX веке, реальные контуры которого науке о литературе ещё предстоит сложить, Булгаков принадлежит вместе с целой плеядой создателей русской словесности советского периода.

Переклички и схождения романа «Мастер и Маргарита» с поэмой «Медный всадник», составляя важнейшую зримую сторону его общей нарративной конструкции, одновременно дают возможность судить о яркой силе, независимости смелых художественных решений и головокружительной глубине светлого булгаковского дара, позволившего его обладателю осмыслить жгучую современность в преломлении вечных истин и ценностей. Обращение к вершинному творению писателя в настоящей статье осуществлялось в строго определённом ключе, не затрагивая другие его грани, иные несущие литературные традиции, требующие отдельных научных подходов, что в равной мере относится и к далеко ещё не изученному огромному пространству авторской неповторимости Булгакова.

Во влиянии «Медного всадника» на булгаковскую прозу существует ещё один аспект, касающийся самой пушкинской поэмы. В нём проявляет действие закономерность, указание на которую находим у М. М. Бахтина. «Пытаясь понять и объяснить произведение только из условий его эпохи..., – писал учёный, – мы никогда не проникнем в его смысловые глубины... Произведения разбивают грани своего времени, живут в веках, то есть в большом времени, причём часто (а великие произведения – всегда) более интенсивной и полной жизнью, чем в своей современности... В процессе своей посмертной жизни они обогащаются новыми значениями, новыми смыслами; эти произведения как бы перерастают то, чем они были в эпоху своего создания» [1, с. 504].

Глубокая мысль М. М. Бахтина, на наш взгляд, оказывается в полной мере применима и к показательному в этом плане явлению масштабной интертекстуальной востребованности в творчестве Булгакова и его соратников по литературному цеху феноменальной «петербургской повести», созданной в предшествующую эпоху. Подобное органичное явление придавало импульс «посмертной жизни» гениальному пушкинскому творению. Представ в своеобразной ипостаси инвариантного текста, оно, прежде всего, подтвердило и нарастило свои немеркнущие смыслы в резонансных исторических реалиях следующего столетия. В текстах новой исторической и литературной эпохи, в ряду которых своё достойное место занимает роман «Мастер и Маргарита», нашли яркое, творческое продолжение

их вечная истинность, духовная проникновенность и семантическая неисчерпаемость, а также гуманистическая аксиология и высокое художественное совершенство поэтических форм авторского воплощения.

Список литературы

1. Бахтин, М. М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. – Москва : Худож. лит., 1986. – С. 501– 508.
2. Бочаров, С. Г. Петербургский пейзаж: камень, вода, человек / С. Г. Бочаров // Новый мир. 2003. № 10. – С. 134–141.
3. Борев, Ю. Н. Искусство интерпретации и оценки: Опыт прочтения «Медного всадника» / Ю. Н. Борев. – Москва : Сов. писатель, 1981. – 400 с.
4. Брюсов, В. Я. Медный всадник / В. Я. Брюсов // Брюсов В. Я. Собр. соч.: в 7 т. – Т.7. Москва : Худож. лит., 1975. – С. 30–61.
5. Бэлза, И. Ф. К вопросу о пушкинских традициях в отечественной литературе: на примере произведений М. А. Булгакова / И. Ф. Бэлза // Контекст–1980. Литературно-теоретические исследования: Сб. / АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. – Москва : Наука, 1981. – С. 156–248.
6. Гаспаров, Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Б. М. Гаспаров. – Москва : НЛЮ, 1996. – 352 с.
7. Дружинин, А. В. Литературная критика / А. В. Дружинин. – Москва : Сов. Россия, 1983. – 384 с.
8. Ефимов, Е. С. Эсхатологические предчувствия в русской литературе: «Медный всадник» А. С. Пушкина и «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова / Е. С. Ефимов // Литература и религия: Материалы [чтений, 15–21 сент. 1996 г., Крым]. Симферополь : КЦГИ, 1996. С. 20–22.
9. Зотов, Г. В. Стихия и кумир. Над страницами «Медного всадника» / Г. В. Зотов // Истина и жизнь. – 2004. – № 2. С. 38–46.

10. Лотман, Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь / Ю. М. Лотман. – Москва : Просвещение, 1988. – 352 с.
11. Меднис, Н. Е. Сверхтексты в русской литературе / Н. Е. Меднис. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2003. – 170 с.
12. Мережковский, Д. С. Пушкин / Д. С. Мережковский // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX – первая половина XX в. Москва : Книга, 1990. – С. 92–160.
13. Перзекe, А. Б. Произведения А. С. Пушкина о Петре и поэма «Медный всадник»: эволюция архетипа «отца и сына» / А. Б. Перзекe // Русская литература. – 2010. № 4. – С. 178–190.
14. Перзекe, А. Б. Фольклорно-мифологические мотивы поэтики образа Евгения в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» / А. Б. Перзекe // Философия и человек. – 2010. – № 1. – С. 50–59.
15. Соколов, Б. В. Булгаковская энциклопедия / Б. В. Соколов. – Москва : Локид; Миф, 1997. – 592 с.
16. Топоров, В. Н. Петербургский текст русской литературы: Избранные труды / В. Н. Топоров. – Санкт-Петербург : «Искусство–СПб», 2003. – 616 с.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРТЕКСТА «МЕДНОГО ВСАДНИКА» А. С. ПУШКИНА...
**THE DEVELOPMENT OF A. S. PUSHKIN'S *BRONZE HORSEMAN* INTERTEXT
IN THE NOVEL BY M. A. BULGAKOV *MASTER AND MARGARITA***

Perseke A. B.

Summary. The article, in the light of the perspective tasks of studying of Pushkin's traditions in M. A. Bulgakov's work, the aspect of the novel *Master and Margarita* previously unlearned in literary criticism is subject to systematic consideration, connected with the development of the intertext of Pushkin's poem *Bronze Horseman* in it, proposed a modern approaches to its interpretation, including a change in the established paradigm of understanding the image of «Poor Eugeny». The article emphasizes deep immersion M. A. Bulgakov in a philosophical sense of the Pushkin myth, reflected in the organic nature of the rolls of his novel with the poet's peak, developing the subject of confrontation between the individual and the authorities, and the various levels of this conflict for story lines Joshua – Pontius Pilate; Master – modern government; Master – Voland. The autobiography of Bulgakov's creation, embodied in the Pushkin's principle of the «Petersburg story» and including the foresight of his destiny, is noted in the work. Attention is drawn to the nature of relevance for the writer who reflected in his *Master and Margarita* his historical time, the semantics, and artistic solutions of the poem of Alexander Pushkin about Peter and Eugeny, the eternal nature of the thematic range of the novel, which he inherited from his great predecessor, M. A. Bulgakov, giving him the unique author's interpretation noted in the article.

Keywords: power, personality, invariance, madness, challenge, autobiographys, myth, eternal topic.

References

1. Bakhtin M. M. Otvet na Vopros Redaktsii «Novogo Mira» [The Response to the Question of The Novy Mir Editorial Board]. Bakhtin M. M. Literary Criticism. Moscow: Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1986. 501–508 pp.
2. Bocharov S. G. Peterburgskii Peizazh: Kamen', Voda, Chelovek [Petersburg Landscape: Stone, Water, Man]. Novy Mir, 2003, no 10, pp. 134–141.
3. Bore Yu. N. Iskusstvo Interpretatsii i Otsenki: Opyt Prochteniya «Mednogo Vsadnika» [The Art of Interpretation and Evaluation: The Experience of Reading The "Bronze Horseman"]. Moscow: Sovetski Pisatel' Publ., 1981. 400 p.
4. Bryusov V. Ya. Mednyi Vsadnik [Bronze Horseman]. V.7. Moscow: Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1975. 30–61 pp.
5. Belza I. F. K Voprosu o Pushkinskikh Traditsiyakh v Otechestvennoi Literature: na Primere Proizvedenii M. A. Bulgakova [To the Question of Pushkin's Traditions in Russian Literature: The Example of Works by M. A. Bulgakov]. Kontekst–1980. Literaturno-Teoreticheskie Issledovaniya: sb. AN SSSR, Institut Mirovoi Literatury Imeni A. M. Gor'kogo. Moscow: Nauka Publ, 1981. 156–248 pp.

6. Gasparov B. M. *Yazyk, Pamyat', Obraz. Lingvistika Yazykovogo Sushchestvovaniya* [Language, Memory, Image. Linguistics of Linguistic Existence]. Moskva: NLO Publ., 1996. 352 p.
7. Druzhinin A. V. *Literaturnaya Kritika* [Literary Criticism]. Moscow: Sovetskaya Rossiya Publ., 1983. 384 p.
8. Efimov E. S. *Eskhatologicheskie Predchuvstviya v Russkoi Literature: «Mednyi Vsadnik» A. S. Pushkina i «Master i Margarita» M. A. Bulgakova* [Eschatological Presentiments in Russian Literature: "The Bronze Horseman" by A. S. Pushkin and "the Master and Margarita" by M. A. Bulgakov]. *Literatura i religiya: Materialy [chtenii, 15–21 sent. 1996 g., Krym]. Simferopol': KTsGI Publ., 1996. 20–22 pp.*
9. Zotov G. V. *Stikhiya i Kumor. Nad Stranitsami «Mednogo Vsadnika»* [Element and Idol. Above the Pages of The Bronze Horseman]. *Istina i Zhizn'*, 2004, no 2, pp. 38–46.
10. Lotman Yu. M. *V Shkole Poeticheskogo Slova: Pushkin. Lermontov. Gogol'* [The School of Poetic Words: Pushkin. Lermontov. Gogol']. Moscow: Prosveshchenie Publ., 1988. 352 p.
11. Mednis N. E. *Sverkhsteksty v Russkoi Literature* [Supertexts in Russian Literature]. Novosibirsk: NGPU Publ., 2003. 170 p.
12. Merezhkovskii D. S. *Pushkin v Russkoi Filosofskoi Kritike: Konets XIX – pervaya polovina XX v.* [Pushkin in Russian Philosophical Criticism: the End of the 19th – the First Half of the 20th century]. Moscow: Kniga Publ., 1990, 92–160 pp.
13. Perzeke A. B. *Proizvedeniya A. S. Pushkina o Petre i Poema «Mednyi Vsadnik»: Evolyutsiya Arkhetipa «Otsa i Syna»* [Pushkin's Works on Peter and The Poem Bronze Horseman: The Evolution of The Archetype «Father and Son»]. *Russkaya Literatura*, 2010, no 4, pp. 178–190.
14. Perzeke A. B. *Fol'klorno-Mifologicheskie Motivy Poetiki Obraza Evgeniya v poeme A. Pushkina «Mednyi vsadnik»* [Folklore-Mythological Motifs of The Poetics of The Image of Eugenia in the Poem of A. Pushkin The Bronze Horseman]. *Filosofiya i Chelovek*, 2010, no 1, pp. 50–59.

15. Sokolov B. V. Bulgakovskaya Entsiklopediya [Encyclopedia Bulgakov]. Moscow: Lokid; Mif Publ, 1997. 592 p.
16. Toporov V. N. Peterburgskii Tekst Russkoi Literatury: Izbrannye Trudy [The Petersburg Text of Russian Literature: Selected Works]. Saint-Petersburg: Iskusstvo–SPb Publ., 2003. 616 p.